

## Пушкинские штудии В. Я. Брюсова

Валерий Яковлевич Брюсов (1873—1924) был не только поэтом. Он известен также как прозаик, драматург, переводчик, критик, специалист в области теории стиха. Человек титанической работоспособности, «самый культурный писатель на Руси», как назвал его Максим Горький, Брюсов успевал также вести большую организационную работу, был одновременно и издателем, и редактором, занимался просветительской деятельностью. Казалось бы, такая широта интересов и занятий должна была вредить глубине мысли автора. С Брюсовым однако этого не случилось. Почему? Да потому, что над многочисленными аспектами его литературной работы ясно обозначался один: творческий, профессиональный. Каким должен быть художник, как он должен писать, каковы законы стихосложения и т. д. — все эти проблемы решались им внимательно и углубленно, с постоянной пытливостью и теоретическим интересом.

При такой целеустремленности литературных интересов Брюсова и фундаментальная история русской лирики не могла быть написана в том виде, как она была задумана в 1895—1898 гг.:<sup>1</sup> этапы лирики (с пушкинским этапом в центре) интересовали Брюсова не сами по себе, не в их всестороннем историческом развитии, а с уклоном в теорию стиха, т. е. не как собственно история лирики, а как *теория лирики в историческом освещении* — постановка проблемы, утвердившаяся лишь в наше время и осуществляемая трудами целых коллективов! Юноша Брюсов задумал не одну историю (кроме истории русской лирики, историю Римской империи и римской литературы, историю схоластики и т. д.) и ни одну из них не написал. Его стихией (вне художественного творчества) были литературная критика и теория поэзии. Лучшие историко-литературные труды Брюсова подчинены главному интересу всей его жизни — стремлению осмыслить современный литературный процесс и по возможности организовать его. Это касается и работ о Пушкине.

Еще в студенческие годы, когда Брюсову казалось неясным его истинное призвание — художественное творчество, история литературы или история вообще, — он писал в дневнике о первой из открывающихся перед ним перспектив: «Писать? — писать не трудно. Я бы мог много романов и драм написать в полгода. Но *надо*, но *необходимо*, чтобы было, что писать. Поэт должен переродиться, он должен на перепутьи встретить ангела, который рассек бы ему грудь мечом и вложил бы вместо сердца пылающий огнем

<sup>1</sup> Судьба «Истории русской лирики» освещена в статье С. И. Гиндина, «Неосуществленный замысел Брюсова»: Вопросы литературы, 1970, № 9.

уголь. Пока этого не было, безмолвно влачась «В пустыне дикой. . .» (17 марта 1897 г.)<sup>2</sup> Властно притягивая к себе, с этих пор образ пушкинского пророка навсегда вошел в сознание Брюсова, на первый взгляд как будто в соответствии с символистской теорией поэта-провидца, но на самом деле — в фактическом противопоставлении ей, в едином сплаве с собственным брюсовским пониманием поэта как творца, *мастера*. В последние годы жизни Брюсов занялся «Пророком» специально — как совершенным поэтическим созданием Пушкина. Впрочем, не только с тем, чтобы восхищаться и анализировать это стихотворение, но и с тем, чтобы, анализируя, учить других пушкинскому мастерству.

«Учительством», бывшим в самой натуре Брюсова-поэта (и развернувшимся вполне при создании книги «Опытов» в 1918 г.), была окрашена в конце XIX—начале XX вв. вся его деятельность как лидера русского модернизма. Это особенно касается критических выступлений Брюсова. Достижения поэзии начала века Брюсов соразмерял гением Пушкина еще тогда, когда он не был столь общепризнанным. Тем самым Брюсов подошел в начале века (пока эмпирически) к одной из проблем, имеющих прямое отношение к судьбам новейшей русской поэзии, но поднятых наукой позднее: Пушкин и поэтическое искусство XX века.

В поучительный контекст критических очерков Брюсова о поэзии начала XX в. входят в частности различные варианты пушкинского образа поэта. Так, например, он пишет о пассивности поэтической природы Бальмонта: «Бальмонт как бы принимает наоборот завет Пушкина: «Пока не требует поэта. . .». У пушкинского поэта душа просыпалась как орел при божественном зове. У Бальмонта она что-то теряет от своей силы и свободы [. . .] Порывы Бальмонта, его страстные переживания, пройдя через его творчество, блекнут...»<sup>3</sup> К тем поэтам, которые с одинаковым спокойствием отзываются на любые темы, Брюсов подходит с меркой, словно приготовленной для этого случая Пушкиным в стихотворении «Эхо»; опуская трагическую ноту Пушкина во второй части стихотворения («Тебе ж нет отзыва. . .»), Брюсов употребляет при их оценке иронический термин: «поэт — эхо» (отзывы о В. Нарбуте, о Бальмонте).

Правда, Брюсов не включал Пушкина в родословную символизма (хотя себя лично как поэта считал продолжателем Пушкина, Верхарна, Тютчева). Еще гимназистом, лелея дерзкую мечту стать в будущем вождем символизма, он считал, что на языке Пушкина невозможно выразить ощущения «fin de siècle» и решительно заключал: «Нет, нужен символизм!» (Дневники, с. 13). В своей типологии русской поэзии Брюсов исходил из традиционного представления о беспредельной ясности и гармоничности лирики Пушкина. Поэзии, отражающей объективную сущность предметов (Пушкин), Брюсов противопоставлял поэзию, передающую субъективное впечатление о предметах и потому лишенную ясности и определенности (Тютчев, Фет, символисты). Иногда это прямое противопоставление осложнялось признанием еще и других направлений в поэзии: «Я равно люблю и верные отражения зримой природы у Пушкина и Майкова, и порывание выразить сверхчувственное, сверхземное у Тютчева и Фета, и мыслительные раздумья Баратынского, и страстные речи

<sup>2</sup> В. Брюсов, Дневники, 1891—1905. Москва 1927, 28—29.

<sup>3</sup> В. Брюсов, Далекое и близкое, Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. В кн. «Н. А. Некрасов и русская литература». Кострома 1974.

гражданского поэта, скажем, Некрасова» (Предисловие к «Tertia Vigilia», 1900). Но на первом месте и здесь было все то же деление поэтического восприятия мира — на объективное и субъективное: нетрудно заметить, что в этом перечне Баратынский тяготеет к художникам второго типа — Тютчеву и Фету, а Некрасов (в контексте других высказываний Брюсова о его изобразительном мастерстве, сопоставимом с пушкинским)<sup>4</sup> — первого типа, изображающим «зримый» мир.

Но даже в этом противопоставлении, сложившемся еще во время обдумывания «Истории русской лирики», Брюсов отталкивался, естественно, от Пушкина — от объективной ценности предметов к их субъективному восприятию. «Едва ли не все, что есть в русской поэзии, создано или намечено Пушкиным», — с таким сознанием исторической миссии Пушкина Брюсов собирался писать о нем как *историк* литературы. Но как *критик* он вел отчет от Пушкина не менторски (пишите, как Пушкин!), а трезво-аналитически, понимая всю сложность путей, которыми развивается искусство. И в современной поэзии он охотнее замечал то, что противоречило пушкинской «гармоничности»: беспощадное проникновение Бальмонта в тайники человеческой души (недоступное ни Пушкину, ни Лермонтову, ни *даже* Тютчеву и Фету), «нервность» и «неровность» его стихов по сравнению с «небесной стройностью пушкинских строф», дар «безумных песен» у Вл. Соловьева, унаследованный им от Фета и Тютчева, но никак не от Пушкина, с его описанием Полтавского боя или «рассказов о нравах горцев» в «Кавказском пленнике».

С меньшей охотой Брюсов предостерегал начинающих поэтов от внешнего подражания Пушкину; это приводило, как он писал, лишь к тому, что их произведение можно было принять за творчество второстепенных поэтов пушкинской эпохи; вероятно, при этом ему вспоминалась и собственная юность, когда он писал, например, «дивное» стихотворение «Фиалка» «в жанре» пушкинской «Тучи» (Дневники. . ., с. 16). Впоследствии Брюсов позволял себе подражать Пушкину лишь в качестве сознательного опыта (стихотворения «Парки бабье лепетанье. . .», 1918, «Вариации на тему «Медного всадника», 1923, «Обработка и окончание» поэмы «Египетские ночи», 1916, комедия «Урок игроку», 1920-е годы;<sup>5</sup> так, кстати, он прикасался к Пушкину еще одной гранью своего творчества — как поэт-экспериментатор).

Влияние Пушкина на поэтов-символистов в глазах Брюсова имело характер неорганический и свидетельствовало о литературном эклектизме (Вяч. Иванов, С. Соловьев). Лишь в редких случаях это влияние растворялось в самобытном характере творчества данного поэта — как в «Урне» А. Белого и особенно в лирике Ф. Сологуба. Сологуб был для Брюсова единственным, кому было «можно» в рамках символизма держаться пушкинской простоты формы. После первого увлечения новизной стиха Бальмонта, писал Брюсов, «надо было всем возжаждать пушкинской простоты, чтобы совершилось обращение широких кругов читателей к поэзии Сологуба».<sup>6</sup>

В брюсовских соотношениях пушкинской поэзии с символизмом уже тогда обнаруживалось противоречие. Примечательна в этом отношении одна

<sup>4</sup> С. И. Гиндин, Брюсов о Некрасове. В кн. «Н.А. Некрасов и русская литература», Кострома 1974.

<sup>5</sup> Стихотворение «Памятник», 1912, вызвавшее нарекания за претенциозную имитацию пушкинского образца (см. Д. Максимов, Брюсов, Поэзия и позиция. Ленинград 1969, 31), в сущности тоже является «пыткой», откровенно восходящим к Пушкину и Горацию.

<sup>6</sup> В. Брюсов, Далекие и близкие, 107.

из программных статей Брюсова-символиста — «Священная жертва» («Весь», 1905, № 1). Заглавием статьи и эпиграфом к ней из стихотворения Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта | К священной жертве Аполлон. . .») Брюсов начинал спор с пушкинским противопоставлением жизни поэта его искусству. Понимая, что крайность выводов Пушкина в этом стихотворении была вынуждена обстоятельствами, Брюсов все же более высокой поэтической позицией считал характерную для своего времени «искренность, крайнюю, последнюю» (то, что он ценил, например, в Бальмонте). Требованиям абсолютного соответствия жизни поэта его слову, по Брюсову, в творчестве Пушкина отвечали лишь случайные для него создания, в которых есть намеки на «ночную сторону его души»: гимн в честь чумы в «Пире во время чумы», «Египетские ночи», «В начале жизни школу помню я . . .».

Но споря с Пушкиным, Брюсов Пушкиным же аргументировал собственное сredo: «. . . душа не должна ждать божественного глагола, чтобы встрепенуться «как пробудившийся орел» [. . .] На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя. Только жреческий нож, рассекающий грудь, дает право на имя поэта». Обращение к «Пророку» в этих строках соотносится с утверждением в начале статьи — о том, что Пушкин «часто чутким слухом предугадывал будущую дрожь нашей современной души», и, таким образом, Брюсов невольно вступает в спор с главной мыслью своей статьи — о несовременности пушкинского взгляда на поэзию.

К тезису о пушкинском противопоставлении жизни поэта его искусству Брюсов впоследствии не возвращался. В статье «Будущее русской поэзии» (1911) он, наоборот, пушкинскую позицию ставил в пример малоопытным поэтам, которые «свою жизнь отделяют от своей поэзии».

Многолетнее изучение Пушкина открывало Брюсову новые стороны его поэзии, не замечавшиеся им раньше. И в поэтике пушкинского стиха Брюсов чаще стал видеть предвосхищение будущих изменений в стихе, совершенных силами наиболее одаренных поэтов конца XIX—начала XX вв.

В 1911 г. Брюсов замечал, например, что Бальмонт учит поэтов внутренним рифмам как «тайне» стихотворного ремесла, в то время как эту тайну хорошо знали и Тютчев, и Баратынский, и «сам Пушкин». Еще позже предметность между поэтикой стиха у Пушкина и современных поэтов станет содержанием одной из лучших работ Брюсова о Пушкине — «Левизна Пушкина в рифмах» (1924).

К более объективному, широкому взгляду на Пушкина Брюсов шел через годы кропотливой фактографической работы, новых и новых анализов пушкинского текста, критического изучения литературы о Пушкине и т. д.

Размышления молодого Брюсова о Пушкине, совпавшие с его мечтами о новом этапе литературного процесса в России и с первыми выступлениями в печати в качестве поэта-символиста, с 1899 г. получили новое, более реальное направление: начав сотрудничать в журнале «Русский архив», Брюсов занялся интенсивной текстологической и библиографической работой.

После первых опытов в этой области — рецензий на собрания сочинений Тютчева и Баратынского — в конце 1899 г. в «Русском архиве» (№ 12) появилась статья Брюсова «Что дает академическое издание сочинений Пушкина (Заметка)». Это была также рецензия на только что появившийся в печати первый том академического собрания сочинений Пушкина. Одна за другой выходят в свет новые работы Брюсова — о других собраниях сочине-

ний Пушкина (в изданиях Л. И. Поливанова, А. С. Суворина, товарищества «Просвещение»), об отдельных этапах жизни Пушкина («Из жизни Пушкина», 1903, «Сношения Пушкина с правительством. I Сношения с А. Х. Бенкендорфом», 1906, «Первая любовь Пушкина [Е. П. Бакунина]», 1907, «Пушкин в Крыму», 1908), статьи о «Гавриилиаде» («Пушкин. Рана его совести», 1903 г., «Гавриилиада», 1908) и т. д. Все эти работы были проникнуты критическим отношением Брюсова к академической школе пушкиноведения, с одной стороны, и, с другой — сознанием собственного долга: ввести в науку о Пушкине свежие представления, показать миру нового, своего Пушкина.

Когда в связи с появлением первой статьи Брюсова о «Гавриилиаде» («Русский архив», 1903, № 7) против него ополчились реакционные критики, ханжески защищавшие «честь» Пушкина, который, по их мнению, не мог быть автором столь неприличной поэмы, Брюсов отвечал им публично через газету «Новое время» (1903, № 9873, 30 августа), что Пушкин не нуждается в такой защите. В черновом наброске ответа, под заглавием «Pro domo sua», есть строки: «Я уже не говорю о том, что мне *мой* Пушкин, со всей его порочностью (?), со всеми его падениями (?) гораздо больше по душе, чем манекен, придуманный гг. Барсуковым, Стародумом и К<sup>о</sup>» (ГБЛ, Отдел рукописей). Так впервые имя Пушкина произносится вместе с местоимением «мой» — еще вне связи с мыслью о будущей книге, просто как идея подлинного, нехрестоматийного, живого Пушкина.

Издать свои лучшие работы о Пушкине отдельной книгой Брюсов задумал в 1910 г. Сохранился и план книги (которая должна была состоять из двух разделов: I Статьи критико-биографические, II Статьи библиографические, заметки, наблюдения), и заготовленный Брюсовым титульный лист: «Валерий Брюсов. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. М., 1911». Замысел был близок к осуществлению, и в предисловии к книге «Далекое и близкое» (М., 1912) Брюсов уже объявил о том, что статьи о жизни и творчестве Пушкина составят «отдельный том». Но не изданная сразу же, как была задумана, книга о Пушкине уже вскоре должна была бы пополниться новыми работами: Брюсов продолжал интенсивно свои пушкинские штудии и занялся специально темой, давно его интересовавшей — поэтикой пушкинского стиха (статья «Стихотворная техника Пушкина» для тома VI венгеровского собрания сочинений Пушкина). Подводить итоги работе над Пушкиным оказалось рано. Пора итогов так и не успела наступить: Брюсов умер в разгар работы над новыми пушкинскими замыслами.<sup>7</sup>

За семьдесят пять лет, протекших с начала первого выступления Брюсова со статьей о Пушкине, в пушкиноведении произошли такие сдвиги, что ныне кажутся устаревшими многие утверждения даже видных пушкинистов того времени. Вряд ли имеет смысл упрекать теперь Брюсова за то, что он

<sup>7</sup> Книга Брюсова о Пушкине под полным заглавием, которое он хотел ей дать, была подготовлена и издана в 1929 г. Н. К. Пиксановым. В нее вошло 22 статьи Брюсова. Правда, ее содержание не соответствует плану, намеченному Брюсовым: Н. К. Пиксанов включил в нее не все, что Брюсов упоминал в записях 1911 г., и в то же время расширил предполагаемый состав книги работами 1912–1924 гг. Но может быть именно поэтому «Мой Пушкин» 1929 г. издания показал воочию заслуги Брюсова перед пушкинизмом и действительно подводил итоги его многолетнему изучению Пушкина. Достаточно сказать, что в пиксановское издание вошли все стиховедческие работы о Пушкине, которые появились после того, как была задумана книга «Мой Пушкин».

разделял некоторые заблуждения современных ему исследователей — касается ли это расшифровки X главы «Евгения Онегина», прочтения рукописей «Медного всадника» и поэмы «Езерский», характеристики политических взглядов Пушкина и т. д. Или за то, что он видел в Н. Н. Гончаровой холодную, бездушную красавицу, которая была способна, по слову М. Цветаевой, лишь «сердце Пушкина теревить в руках». Наконец, не будем придирааться к тому, что Брюсов вместе с другими издателями приписывал Пушкину не принадлежавшие ему произведения, а самые ранние известные стихи относил к 1812 г., в то время как они датируются теперь 1813 годом.

Но даже и с чисто фактографической стороны работы Брюсова оставили заметный след в пушкиниане. Таков особенно цикл статей, напечатанных в венгерском издании сочинений Пушкина («Первая любовь Пушкина [Е. П. Букунина]»), примечания к 14 лицейским стихотворениям (т. I, СПб. 1907); «Пушкин в Крыму», «Гавриилиада» (т. II, 1908); «Домик в Коломне», «Медный всадник» (т. III, 1909); «Неоконченные повести (Пушкина) из русской жизни», «Египетские ночи» (т. IV, 1910); «Стихотворная техника Пушкина» (т. VI, 1915).

Мимо блестящей аргументации Брюсовым авторства «Гавриилиады» не пройдет никто, всерьез интересующийся этой уникальной поэмой первой четверти XIX в. Брюсову принадлежит заслуга первого научного исследования поэмы «Медный всадник». Заметные вехи в историографии Пушкина составили полемические выступления Брюсова, может быть, слишком резкие по тону, но большей частью справедливые по существу: «Старое о господине Щеглове» (в связи с книгой И. Щеглова «Новое о Пушкине». СПб. 1902, в которой утверждалось, что Баратынский был прототипом Сальери), «Пушкин перед судом ученого историка» (против критики профессором Н. Н. Фирсовым «Истории пугачевского бунта» в томе XI академического издания сочинений Пушкина, СПб. 1916), «Новая клевета на Пушкина. По поводу очередного открытия Н. О. Лернера» (Н. О. Лернер в 1915 г. приписал Пушкину не принадлежащую ему статью в «Литературной газете»).

Многочисленные исправления в пушкинском тексте, предложенные Брюсовым при чтении первого тома академического издания Пушкина (СПб. 1899), свидетельствовали о необходимости пересмотра старых методов публикации. Независимо от того, всегда ли был прав Брюсов в своих замечаниях и предложениях, это его выступление (в книге: «Валерий Брюсов. Лицейские стихи Пушкина». М. 1907) оказало услугу русской текстологии, и это признали Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский и другие ученые, обратившись к истории издания пушкинских текстов.

Некоторая жесткость в критике, готовность уличить оппонентов в ошибках, — при том, что и сам Брюсов не был свободен от погрешностей в публикациях и от опрометчивости в выводах — все это привело к тому, что в кругах пушкинистов стала подвергаться сомнению его научная объективность. Брюсов долго не был вполне «своим» среди пушкинистов, так что выражение: Брюсов-пушкинист — не совсем точно отражает его место в семье ученых, связанных общим интересом к Пушкину. (Положение изменилось лишь в конце жизни Брюсова, уже в советское время, когда он активно начал работать в президиуме Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, и в среде ученых, занимавшихся Пушкиным, появились надежды на успех дела, в котором будет участвовать «такой заслуженный пушкинист»).

После многолетней работы, проделанной советскими текстологами, многие фактические погрешности, допущенные с обеих сторон (впрочем, так же, как и открытия), потеряли свою злободневность, и теперь яснее выступает подлинная ценность брюсовских работ о Пушкине. Да, Брюсов внес свою лепту в науку о Пушкине на той ранней ее стадии (конец XIX—начало XX в.), когда на очереди с особой остротой стояла необходимость *собирания материалов* — издание биографических работ, публикация новых и уточнение известных текстов и т. д. Эта работа его достойна уважения, спора нет. Но для нас теперь Брюсов гораздо более интересен своей деятельностью на следующей стадии пушкиноведения (1910—20-е годы), когда первоочередной задачей стало *осмысление творчества* Пушкина, идейная и художественная характеристика его произведений. С этой стадией (для Брюсова это были семь лет до Октябрьской революции и семь лет после нее) связаны лучшие работы Брюсова о Пушкине, особенно те, которые посвящены поэтике пушкинского стиха.

К специальному изучению пушкинской поэтики в 1910-е годы Брюсова привела его давняя мечта — добиться того, чтобы искусство писать стихи стало «общим достоянием», равно доступным «и гению поэзии и скромному литературному работнику».<sup>8</sup> Слово «работник» здесь — не случайный прозаизм вместо высокого слова «поэт»; оно точно выражает мысль Брюсова: совершенство в искусстве может быть достигнуто лишь работой, неустанным трудом. «Право на работу» (1913), «Ремесло поэта» (1918) — характерные названия брюсовских статей, заостренно выражающие потребность времени — поднять общую культуру литературного труда. И тут Брюсов обращается за помощью в первую очередь к Пушкину как к гению, умеющему быть работником. Само слово «работник» в этом брюсовском словоупотреблении восходит к Пушкину — к характеристике государственного гения Петра I: «На троне вечный был работник».

Защищая культ труда в поэтическом творчестве, Брюсов обращается к авторитету Пушкина, который сумел убедить общество в том, что «работа» поэтов заслуживает внимания и сочувствия.<sup>9</sup> Он цитирует пушкинского героя: «Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни» — с тем, чтобы сделать вывод: «изучение техники своего искусства сокращает художнику время, которое он тратит на бесполезное искание своими силами того, что уже давно найдено».<sup>10</sup> Не проходит мимо примера Пушкина, размышляя о неблагородном труде переводчика, бросающего фиалку в тигель, чтобы воссоздать ее в новом обличье («Фиалки в тигеле», 1905). Находит в мыслях Пушкина о вдохновении в геометрии и поэзии сходство с утверждением Рене Гиля, что поэт может творить «вдохновенно», опираясь на научные данные («Научная поэзия», 1909). Потом возвращается к этим словам Пушкина в новой связи, продолжая свою прежнюю критику «стихийности» творческого процесса Бальмонта и поднимая в печати новый спор уже с теоретическим принципом этого поэта — о том, что лирические стихотворения не следует переделывать. Отстаивая право поэтов на *работу*, точнее, вменяя им ее в обязанность, Брюсов ссылается на опыт великих поэтов мира и в их числе на опыт Пушкина, отредактировавшего для сборника стихотворений 1826 г. свои лицейские стихи. «Что творчество поэта не есть какое-то безвольное умоисступ-

<sup>8</sup> В. Брюсов, *Далекие и близкие*, 116.

<sup>9</sup> Там же, 115.

<sup>10</sup> Там же, 117.

ление, но сознательный, в высшем значении этого слова, труд, — это прекрасно показал еще Пушкин в своем рассуждении «О вдохновении и восторге», где встречается знаменитый афоризм: «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» («Право на работу»).

Рационалистическое понимание творческого процесса, свойственное Брюсову даже в годы его символистской деятельности, с течением времени становится более последовательным. И если, как полагают некоторые исследователи, в отходе Брюсова от течения символистов сыграло роль его пристальное внимание к творчеству Пушкина, то в значительной степени потому, что пушкинская поэзия воспринималась им как уникальное средоточие богатства содержания и совершенства формы, как результат титанического труда.

Когда перед молодой советской поэзией возникла опасность увлечения «самоцельной» образностью, усилению культивируемой, в частности, теоретиками имажинизма, Брюсов снова вооружился Пушкиным. Стихотворением «Зимний вечер» он иллюстрировал необходимость гармонии между образной системой произведения и его общим смыслом, которой пренебрегали имажинисты; а стихотворением «Я вас любил, любовь еще быть может. . .» (вместе с стихотворениями Лермонтова «Есть речи — значенье. . .», «В минуту жизни трудную. . .» и др.) доказывал, что поэзия может волновать и не прибегая к пластической образности (статья «Погоня за образами», 1922).

В цикле статей, специально посвященных поэтике пушкинского стиха, например «Стихотворная техника Пушкина», «Левизна Пушкина в рифмах», «„Пророк. Анализ стихотворения”» — Брюсов вводил в поэтическую мастерскую Пушкина всех, кто хотел бы учиться искусству поэзии. Изучение звукописи Пушкина Брюсов заключил новым обращением к словам Пушкина о вдохновении в геометрии, добавляя от себя; «и наоборот, геометрия нужна в поэтическом творчестве».

Увлечение Брюсова вопросами стихотворной техники дало повод его исследователям говорить о его близости к формальной школе. Близость эта оценивалась обычно односторонне — как дурное влияние на него формалистов. Следует однако сделать хотя бы несколько уточнений.

С одной стороны, эта близость по существу не столь велика. Несмотря на демонстративное провозглашение преимуществ анализа формы как таковой («формальная оценка должна предшествовать всякой другой»), Брюсов как правило не ограничивался изучением формы, и в его пушкиниане наличие статьи «Пушкин и крепостное право» и особенно тщательный подсчет картин помещицей и крестьянской жизни в «Евгении Онегине» свидетельствуют о совсем иных тенденциях его научного метода. Эти тенденции уловили еще в 1915 г. рецензенты «Стихотворной техники Пушкина», упрекая Брюсова в навязывании элементам стиха тематических функций. (От этой крайности Брюсов действительно потом освободился).

Для развития исследовательского метода Брюсова характерен его постепенно растущий интерес к проблеме отражения мира в художественном произведении, которая не интересовала сама по себе представителей формального литературоведения. В том же 1915 г., объясняя смысл надписей на заглавном листе маленьких трагедий — «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений», Брюсов писал: «Пушкин смотрел на свои маленькие драмы как на изучения. Чего? Вряд ли можно отвечать: человека, психологии, страстей. Такой ответ решительно не соответствовал бы всему, что мы знаем о поэтике Пушкина. Пушкин никогда не видел в поэзии средства



изучения мира (хотя, может быть, такой взгляд и справедлив по существу дела)» («Маленькие драмы» Пушкина. К предстоящему спектаклю в Художественном театре». 1915). Через семь лет Брюсов однако усиленно занялся обзором творчества Пушкина с точки зрения изображения в нем мира — разных стран, народов, литератур, социальных групп и т.д. Кроме названной статьи «Пушкин и крепостное право», этому вопросу посвящены целые абзацы статей «Разносторонность Пушкина», 1922, и «Пушкин — мастер», 1924. Предметно-описательной характеристикой творчества Пушкина Брюсов занимался с такой же страстью, как и формально-описательной характеристикой — в статье «Звукопись Пушкина». Брюсов и в 1920-е годы продолжал искать все новых и новых путей к постижению Пушкина. Анализ «Пророка» в 1920-е годы, как и более ранние работы о «Гавриилиаде», «Медном всаднике» отнюдь не были лишены взгляда на произведение как на идейно-художественное единство. Тяга Брюсова к целостному восприятию такого громадного явления, каким был Пушкин, передана в его словах: «Как сочинения Пушкина, так и его убеждения — это живой организм, из которого нельзя изъять одну часть, не повредив целого» («Записка о правописании в издании сочинений А. С. Пушкина», 1919).

Возвращаясь к взаимоотношению Брюсова с формальным литературоведением, нужно признать, с другой стороны, что его дореволюционные стиховедческие исследования стоят у самых истоков формального метода — вместе с книгой А. Белого «Символизм» М. 1910 (если следовать, как принято, хронологии выхода в свет этой книги, подогретой интерес Брюсова к стиховедению и вызвавшей его первое выступление в печати по этому вопросу<sup>11</sup>), а еще точнее — *перед* ней, если принять во внимание тот немаловажный для истории науки факт, что созданием разделов о стихе в этой книге А. Белый, по его же словам, был обязан беседам с Брюсовым.

В брюсовских исследованиях метрики, ритмики, строфики, рифмообразования Пушкина были уже намечены контуры того пути изучения пушкинского стиха, по которому пошла целая группа ученых 1920-х и 1930-х годов, то уточняя доводы Брюсова, то серьезно полемизируя, а то и пренебрегая ими. Чаще всего оказывалась в центре внимания, естественно, статья «Стихотворная техника Пушкина». Наблюдения над ритмикой 4-х стопного ямба и его вариациями, описание трехсложных размеров Пушкина, которые до Брюсова редко замечали, суждения о пушкинских гекзаметрах, характеристика исканий Пушкина вне силлабо-тоники — все это получило дальнейшее развитие в трудах, посвященных изучению поэтики пушкинского стиха.<sup>12</sup>

Таким образом, между достижениями Брюсова и формальной школы в пушкиноведении нет ни пропасти ни тождества. К началу 20-х годов они отражали две разные позиции в науке о Пушкине, но их объединял общий интерес — к теории стиха.

Одним из важных вопросов, общих для Брюсова и представителей формальной школы в пушкиноведении, было изучение связей между поэтикой Пушкина и поэтов XX в. К этой проблеме В. М. Жирмунский, например, шел

<sup>11</sup> Об одном вопросе ритма (по поводу книги Андрея Белого «Символизм»): Аполлон, 1910, № 11.

<sup>12</sup> Перечисляя эти заслуги Брюсова-стиховеда, составители «Метрического справочника к стихотворениям Пушкина», Academia — Н. В. Лапшина, И. К. Романович, Б. И. Ярхо — признавали его своим главным предшественником.

путем сопоставления, при котором в современном стихе обнаружилось пушкинское, «гармоническое» начало; так он, в частности, анализировал поэзию самого Брюсова и приходил к выводу о глубокой чуждости Брюсову классического стиля Пушкина.<sup>13</sup> Брюсова же более интересовал противоположный процесс: он искал в пушкинском стихе начало будущих преобразований, вполне совершившихся лишь в стихе XX века. Расхождение — при общем интересе — симптоматично: пушкинист-ученый и пушкинист-поэт и должны были идти к цели разными путями.

На отношении Брюсова и проблеме: Пушкин и современная поэзия видно, какая эволюция произошла в его взглядах в послеоктябрьский период.

Если вспомним, в начале века Брюсов в качестве критика-символиста ревностно следил за несоответствиями современного стиха пушкинскому классическому стиху (и в этом отношении тогда был ближе к мыслям В. М. Жирмунского, высказанным в книге 1922 г.), то в 1920-е годы он ищет в Пушкине, выражаясь словами Горького, «начало всех начал» и смотрит на него как на родоначальника всей русской литературы, в том числе и наисовременной, «левой». В канонической ясности пушкинских идей и форм он замечает признаки будущих духовных и общественных бурь, отразившихся в искусстве Гоголя, Достоевского, Толстого. Стихотворения Пушкина «В начале жизни» и «Не дай мне бог сойти с ума», «Гимн чуме» из «Пира во время чумы» он рассматривает теперь как нечто близкое символизму конца XIX в., т. е. собственной молодости! (статьи «Разносторонность Пушкина», 1922, и «Пушкин-мастер», 1924). «Пушкин прокладывал широкую дорогу русской литературе, — писал Брюсов, — по пути намечал тропинки в сторону, шел по ним до известной границы, ставил там свою отметку с надписью: «я здесь был, я эту тропу знал». Многочисленные, незаконченные наброски Пушкина, отрывки, брошенные четверостишия, недоговоренные строки, единичные стихи и суть эти надписи и отметки. По ним мы видим, что Пушкин в 20-х и в 30-х годах доходил уже до наших дней, а может быть, заглядывал и дальше».

Этими словами — о необъятной широте пушкинского творчества и кровной связи его с современным искусством — заканчивалась последняя статья Брюсова о Пушкине, отданная им в печать («Пушкин — мастер»).

В то же последнее для Брюсова лето на анкету «Всемирной иллюстрации», организованную к 125-летию со дня рождения Пушкина — о том, что может дать Пушкин новому читателю, строителю будущего — он ответил лаконично: «Учитесь у Пушкина». Учитесь. . . — на этот раз не только профессиональному мастерству. Это был возглас человека, всю жизнь занимавшегося Пушкиным и потому хорошо знавшего ему цену — как художнику, личности, мыслителю.

Между двумя пушкинскими юбилейными датами — 100-летием со дня рождения, когда Брюсов начал работать над Пушкиным, и 125-летием — умещается вся деятельность Брюсова-пушкиниста и почти весь его литературный путь.

Москва

Э. А. Полоцкая

<sup>13</sup> См. В. М. Жирмунский, «Валерий Брюсов и наследие Пушкина». Москва 1922.

# STUDIA SLAVICA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

E. BAŁECZKY, P. KIRÁLY,  
L. KISS, I. SIPOS, L. SZIKLAY

REDIGIT

L. HADROVICS

TOMUS XXII

FASCICULI 3-4



AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST  
1976

STUD. SLAV. HUNG.